ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Михаил Булгаков

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

Annotation

«Собачье сердце» – одно из самых любимых читателями произведений Михаила Булгакова. Вас ждёт полный рассказ о необыкновенном эксперименте гениального доктора.

- Михаил Булгаков
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
- notes
  - 1

Михаил Булгаков
Собачье сердце

Глава 1

У-у-у-у-у-гу-гуг-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревёт мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке – повар столовой нормального питания служащих центрального совета народного хозяйства – плеснул кипятком и обварил мне левый бок.

Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи, боже мой – как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это – последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «бар» жрут дежурное блюдо – грибы, соус пикан по 3р.75 к. порция. Это дело на любителя всё равно, что калошу лизать… У-у-у-у-у…

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчётливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить?

Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая трава, а кроме того, нажрёшься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза какая-то, что поёт на лугу при луне – «Милая Аида» – так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? Не били вас сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой ещё не угас… Живуч собачий дух.

Но вот тело моё изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что – как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление лёгких, а, получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением лёгких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит лёгкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибёт меня палкой насмерть.

И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу…

Дворники из всех пролетариев – самая гнусная мразь. Человечьи очистки – самая низшая категория. Повар попадается разный. Например – покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в Нормальном питании – уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он её не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. С… эти французы, между нами говоря. Хоть и лопают богато, и всё с красным вином. Да…

Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в бар не пойдёшь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщины единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает… Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они оба эти блюда и пятиалтынного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У неё и верхушка правого лёгкого не в порядке и женская болезнь на французской почве, на службе с неё вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вот она…

Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорёт: до чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрёна, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду – всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне её, жаль! Но самого себя мне ещё больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне… Куда пойду? У-у-у-у-у!..

– Куть, куть, куть! Шарик, а шарик… Чего ты скулишь,

бедняжка? Кто тебя обидел? Ух…

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой… Какая погода… Ух… И живот болит. Это солонина! И когда же это всё кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало её вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пёс остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твёрдо решил, что больше отсюда никуда не пойдёт, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слёзы, как пупырыши, вылезали из глаз и тут же засыхали.

Испорченный бок торчал свалявшимися промёрзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара. – «Шарик» она назвала его… Какой он к чёрту «Шарик»? Шарик – это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрёт, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пёс. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже – вернее всего, – господин. Ближе – яснее – господин. А вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё же издали можно спутать. А вот по глазам – тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза значительная вещь. Вроде барометра. Всё видно у кого великая сушь в душе, кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься – получай. Раз боишься – значит стоишь… Р-р-р…

Гау-гау…

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с

французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный, больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза?

Вот он рядом… Чего ждёт? У-у-у-у… Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало охотного ряда? Что такое? Колбасу. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте её мне.

Пёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар.

Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю – в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности – зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде, кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у… Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а отчаяние – и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остаётся.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особая краковская». И псу этот кусок.

О, бескорыстная личность! У-у-у!

– Фить-фить, – посвистал господин и добавил строгим голосом:

– Бери!

Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал её в два счёта. При этом подавился колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не заглотал верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку.

Целую штаны, мой благодетель!

– Будет пока что… – господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

– А-га, – многозначительно молвил он, – ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. – Он пощёлкал пальцами. – Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботиками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сняли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нём, поглощённый одной мыслью – как бы не утерять в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он её выразил. Поцеловал в ботик у Мёртвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочной, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой, и придётся делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. – Ф-р-р-р… га…у! Вон! Не напасёшься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду.

За вами буду двигаться куда ни прикажете.

– Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

Фить-фить! Сюда? С удово… Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодёр в позументе.

– Да не бойся ты, иди.

– Здравия желаю, Филипп Филиппович.

– Здравствуй, Фёдор.

Вот это – личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец – ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси.

Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щёткой сколько раз морду уродовал мне, а?

– Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоится. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

– Писем мне, Фёдор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

– Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), – а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный пёсий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

– Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

– Точно так, целых четыре штуки.

– Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

– Да ничего-с.

– А Фёдор Павлович?

– За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

– Чёрт знает, что такое!

– Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей.

Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних – в шею.

– Что делается. Ай-яй-яй… Фить-фить.

Иду-с, поспеваю. Бок, изволите ли видеть, даёт себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, ещё раз повернули и вот – бельэтаж.

Глава 2

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее (ежели вы проживаете в Москве, и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются), вы волей-неволей научитесь грамоте, притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелёно-голубые вывески с надписью МСПО – мясная торговля. Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пёс отведал изолированной проволоки, она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом Шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее, пошло ещё успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, потом и «б» – подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали «сыр». Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина «Чичкина», горы голландского красного, зверей приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший дурно пахнущий бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «Милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово «Неприли…», что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, – иногда, в редких случаях, – салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины…

Гау-гау… га… строномия. Если тёмные бутылки с плохой жидкостью…

Ве-и-ви-на-а-вина… Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой волнистым и розовым стеклом двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о «про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что означающая. «Неужто пролетарий»? – подумал Шарик с удивлением… – «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное слово, а бог его знает что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, ещё более оттенив чёрную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», – подумал пёс.

– Пожалуйте, господин Шарик, – иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов нагромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и галоши и опаловый тюльпан с электричеством под потолком.

– Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? – улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжёлую шубу на чёрно-бурой лисе с синеватой искрой. – Батюшки! До чего паршивый!

– Вздор говоришь. Где паршивый? – строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в чёрном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко сверкала золотая цепь.

– Погоди-ка, не вертись, фить… Да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши… Да стой ты, чёрт… Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар, каторжник повар!» – жалобными глазами молвил пёс и слегка подвыл.

– Зина, – скомандовал господин, – в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощёлкала пальцами и пёс, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоём попали в узкий

тускло освещённый коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в тёмной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щёлкнула и превратилась в ослепительный день, причём со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет», – мысленно завыл пёс, – «Извините, не дамся! Понимаю, чёрт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножами, а до него и так дотронуться нельзя».

– Э, нет, куда?! – закричала та, которую называли Зиной.

Пёс извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хрястнуло по всей квартире. Потом, отлетел назад, закрутился на месте как кубарь под кнутом, причём вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искажённое женское лицо.

– Куда ты, чёрт лохматый?.. – кричала отчаянно Зина, – вот окаянный!

«Где у них чёрная лестница?..» – соображал пёс. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

– Стой, с-скотина, – кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги, – Зина, держи его за шиворот, мерзавца.

– Ба… батюшки, вот так пёс!

Ещё шире распахнулась дверь и ворвалась ещё одна личность мужского пола в халате. Давя битые стёкла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причём пёс с увлечением тяпнул её повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась.

Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал куда-то криво вбок.

«Спасибо, кончено», – мечтательно подумал он, валясь прямо на острые стёкла:

– «Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодёры, за что же вы меня?

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

* * *

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пёс приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперёк боков и живота. «Всё-таки отделали, сукины дети, подумал он смутно, – но ловко, надо отдать им справедливость».

– «От Севильи до Гренады… В тихом сумраке ночей», – запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пёс удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддёрнуты, и голая жёлтая голень вымазана засохшей кровью и иодом.

«Угодники!» – подумал пёс, – «Это стало быть я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

– «Р-раздаются серенады, раздаётся стук мечей!». Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

«У-у-у» – жалобно заскулил пёс.

– Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

– Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? – спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком и в шкафу зазвенели склянки.

– Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудитесь накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стёкла и женский голос кокетливо заметил:

– Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

– Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка.

Взрослая девушка, а как ребёнок тащишь в рот всякую гадость. Не сметь!

Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит… «Всех, кто скажет, что

другая здесь сравняется с тобой…».

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

– Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идём принимать.

Пёс поднялся на нетвёрдые ноги, покачался и задрожал, но быстро оправился и пошёл следом за развевающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пёс пересёк узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещён сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошёл с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего, он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стёклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

– Ложись, – приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошёл тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым с острой бородкой, подал лист и молвил:

– Прежний…

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», – в смятении подумал пёс и привалился на ковровый узор у тяжёлого кожаного дивана, – «а сову эту мы разъясним…»

Дверь мягко открылась и вошёл некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко…

– Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущённо поклонился Филипп Филипповичу.

– Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, – сконфуженно вымолвил он.

– Снимайте штаны, голубчик, – скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Исусе», – подумал пёс, – «вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зелёные волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, её приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту

великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!.. – он легонько потявкал.

– Молчать! Как сон, голубчик?

– Хе-хе. Мы одни, профессор? Это неописуемо, – конфузливо заговорил посетитель. – Пароль Дьоннер – 25 лет ничего подобного, – субъект взялся за пуговицу брюк, – верите ли, профессор, каждую ночь обнажённые девушки стаями. Я положительно очарован. Вы – кудесник.

– Хм, – озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шёлковыми чёрными кошками и пахли духами.

Пёс не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

– Ай!

– Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» – удивился пёс.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковёр маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал её и густо покраснел.

– Вы, однако, смотрите, – предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, – всё-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

– Я не зло… – смущённо забормотал субъект, продолжая раздеваться, – я, дорогой профессор, только в виде опыта.

– Ну, и что же? Какие результаты? – строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

– 25 лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на Рю де ла Пэ.

– А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

– Проклятая Жиркость[1]!. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, бормотал субъект, ища глазами зеркало. – Им морду нужно бить! – свирепея, добавил он. – Что же мне теперь делать, профессор? – спросил он плаксиво.

– Хм, обрейтесь наголо.

– Профессор, – жалобно восклицал посетитель, – да ведь они

опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!

– Не сразу, не сразу, мой дорогой, – бормотал Филипп Филиппович.

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

– Ну, что ж, – прелестно, всё в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. «Много крови, много песен…».

Одевайтесь, голубчик!

– «Я же той, что всех прелестней!..» – дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

– Две недели можете не показываться, – сказал Филипп Филиппович, – но всё-таки прошу вас: будьте осторожны.

– Профессор! – из-за двери в экстазе воскликнул голос, – будьте совершенно спокойны, – он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошёл тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

– Годы показаны не правильно. Вероятно, 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жёваной шее. Странные чёрные мешки висели у неё под глазами, а щёки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

– Сударыня! Сколько вам лет? – очень сурово спросил её Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

– Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

– Лет вам сколько, сударыня? – ещё суровее повторил Филипп Филиппович.

– Честное слово… Ну, сорок пять…

– Сударыня, – возопил Филипп Филиппович, – меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

– Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь – это такой ужас…

– Сколько вам лет? – яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович и очки его блеснули.

– Пятьдесят один! – корчась со страху ответила дама.

– Снимайте штаны, сударыня, – облегчённо молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

– Клянусь, профессор, – бормотала дама, дрожащими пальцами расстёгивая какие-то кнопки на поясе, – этот Мориц… Я вам признаюсь, как на духу…

– «От Севильи до Гренады…» – рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

– Клянусь богом! – говорила дама и живые пятна сквозь искусственные продирались на её щеках, – я знаю – это моя последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод. – Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.

Пёс совершенно затуманился и всё в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к чёрту», – мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда, – «И стараться не буду понять, что это за штука – всё равно не пойму.

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

– Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны, – объявил он и посмотрел строго.

– Ах, профессор, неужели обезьяны?

– Да, – непреклонно ответил Филипп Филиппович.

– Когда же операция? – бледнея и слабым голосом спрашивала дама.

– «От Севильи до Гренады…» Угм… В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

– Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

– Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого – 50 червонцев.

– Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пёс дремал, тошнота прошла, пёс наслаждался утихшим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста… Потом взволнованный голос тявкнул над

головой.

– Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

– Господа, – возмущённо кричал Филипп Филиппович, – нельзя же так.

Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

– Четырнадцать, профессор… Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

– Да ведь я же не юрист, голубчик… Ну, подождите два года и женитесь на ней.

– Женат я, профессор.

– Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка», – думал пёс, – «но до чего хорошо! А на какого чёрта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавёлся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, моё счастье! А сова эта дрянь… Наглая.

Окончательно пёс очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» – удивлённо подумал пёс.

Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов.

Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

– Мы к вам, профессор, – заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, – вот по какому делу…

– Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, – перебил его наставительно Филипп Филиппович, – во-первых, вы простудитесь, а, во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

– Во-первых, мы не господа, – молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

– Во-первых, – перебил его Филипп Филиппович, – вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый тот, с копной.

– Какая разница, товарищ? – спросил он горделиво.

– Я – женщина, – признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших – блондин в папахе.

– В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, – внушительно сказал Филипп Филиппович.

– Я вам не милостивый государь, – резко заявил блондин, снимая папаху.

– Мы пришли к вам, – вновь начал чёрный с копной.

– Прежде всего – кто это мы?

– Мы – новое домоуправление нашего дома, – в сдержанной ярости заговорил чёрный. – Я – Швондер, она – Вяземская, он – товарищ Пеструхин и Шаровкин. И вот мы…

– Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?

– Нас, – ответил Швондер.

– Боже, пропал калабуховский дом! – в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

– Что вы, профессор, смеётесь?

– Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, – крикнул Филипп Филиппович, – что же теперь будет с паровым отоплением?

– Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

– По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

– Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома…

– Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович, – потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

– Вопрос стоял об уплотнении.

– Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

– Известно, – ответил Швондер, – но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах.

– Я один живу и работаю в семи комнатах, – ответил Филипп Филиппович, – и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

– Восьмую! Э-хе-хе, – проговорил блондин, лишённый головного убора, однако, это здорово.

– Это неописуемо! – воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

– У меня приёмная – заметьте – она же библиотека, столовая, мой кабинет – 3. Смотровая – 4. Операционная – 5. Моя спальня – 6 и комната прислуги – 7. В общем, не хватает… Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

– Извиняюсь, – сказал четвёртый, похожий на крепкого жука.

– Извиняюсь, – перебил его Швондер, – вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

– Даже у Айседоры Дункан, – звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело и он не произнёс ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

– И от смотровой также, – продолжал Швондер, – смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

– Угу, – молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, – а где же я должен принимать пищу?

– В спальне, – хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

– В спальне принимать пищу, – заговорил он слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приёмной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. – вдруг рявкнул он и багровость его стала жёлтой. – Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где её принимают все нормальные люди, то-есть в столовой, а не в передней и не в детской.

– Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, – сказал взволнованный Швондер, – мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

– Ага, – молвил Филипп Филиппович, – так? – И голос его принял подозрительно вежливый оттенок, – одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, – в восторге подумал пёс, – весь в меня. Ох,

тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю ещё – каким способом, но так тяпнет…

Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие… Р-р-р…»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в неё так:

– Пожалуйста… Да… Благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Пётр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Пётр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции.

Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России… Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооружённых револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть её.

– Позвольте, профессор, – начал Швондер, меняясь в лице.

– Извините… У меня нет возможности повторить всё, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

– Что же делать… Мне самому очень неприятно… Как? О, нет, Пётр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение моё лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм… Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы моё имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага… Ну, это другое дело. Ага… Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, – змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, – сейчас с вами будут говорить.

– Позвольте, профессор, – сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, вы извратили наши слова.

– Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

– Я слушаю. Да… Председатель домкома… Мы же действовали по правилам… Так у профессора и так совершенно исключительное положение…

Мы знаем об его работах… Целых пять комнат хотели оставить ему… Ну, хорошо… Раз так… Хорошо…

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень!» – восхищённо подумал пёс, – «что он, слово, что ли, такое знает? Ну теперь можете меня бить – как хотите, а я отсюда не уйду.

Трое, открыв рты, смотрели на оплёванного Швондера.

– Это какой-то позор! – несмело вымолвил тот.

– Если бы сейчас была дискуссия, – начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, – я бы доказала Петру Александровичу…

– Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? – вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

– Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдём… Только я, как заведующий культотделом дома…

– За-ве-дующая, – поправил её Филипп Филиппович.

– Хочу предложить вам, – тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, – взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

– Нет, не возьму, – кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налётом.

– Почему же вы отказываетесь?

– Не хочу.

– Вы не сочувствуете детям Германии?

– Сочувствую.

– Жалеете по полтиннику?

– Нет.

– Так почему же?

– Не хочу.

Помолчали.

– Знаете ли, профессор, – заговорила девушка, тяжело вздохнув, – если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дёрнул её за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы ещё разъясним, вас следовало бы арестовать.

– А за что? – с любопытством спросил Филипп Филиппович.

– Вы ненавистник пролетариата! – гордо сказала женщина.

– Да, я не люблю пролетариата, – печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

– Зина, – крикнул Филипп Филиппович, – подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приёмную, молча переднюю и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пёс встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

Глава 3

На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты – тяжёлый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды»! – подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

– Сюда их, – хищно скомандовал Филипп Филиппович. – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки.

Красавец тяпнутый – он был уже без халата в приличном чёрном костюме – передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

– Ново-благословенная? – осведомился он.

– Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

– Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная – 30 градусов.

– А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это, во-первых, – а во-вторых, – бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову?

– Всё, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.

– И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло, – … Мм… Доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это… Я ваш кровный враг на всю жизнь. «От Севильи до Гренады…».

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. Укушенный последовал его примеру.

Глаза Филиппа Филипповича засветились.

– Это плохо? – жуя спрашивал Филипп Филиппович. – Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

– Это бесподобно, – искренно ответил тяпнутый.

– Ещё бы… Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок – это первая. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском Базаре. На, получай.

– Пса в столовой прикармливаете, – раздался женский голос, – а потом его отсюда калачом не выманишь.

– Ничего. Бедняга наголодался, – Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

– Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе – большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой). И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своём пищеварении, мой добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет.

– Гм… Да ведь других нет.

– Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», – теряли в весе.

– Гм… – с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

– Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

– Вот чёрт…

– Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа.

Слопав его, пёс вдруг почувствовал, что он хочет спать, и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение, – думал он, захлопывая отяжелевшие веки, – глаза бы мои не

смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда – это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пёс дремал, уложив голову на передние лапы.

– Сен-Жюльен – приличное вино, – сквозь сон слышал пёс, – но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягчённый потолками и коврами, хорал донёсся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил и пришла Зина.

– Зинуша, что это такое значит?

– Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович, – ответила Зина.

– Опять! – горестно воскликнул Филипп Филиппович, – ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придётся уезжать, но куда – спрашивается. Всё будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. Крышка калабухову.

– Убивается Филипп Филиппович, – заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок.

– Да ведь как не убиваться?! – возопил Филипп Филиппович, – ведь это какой дом был – вы поймите!

– Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович, – возразил красавец тяпнутый, – они теперь резко изменились.

– Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я – человек фактов, человек наблюдения. Я – враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

– Это интересно…

«Ерунда – калоши. Не в калошах счастье», – подумал пёс, – «но личность выдающаяся.»

– Не угодно ли – калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая – подчёркиваю красным карандашом: ни одного – чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 17-го года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция – не

нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

– Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош, – заикнулся было тяпнутый.

– Ничего похожего! – громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. – Гм… Я не признаю ликёров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень… Ничего подобного! На нём есть теперь калоши и эти калоши… мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, – кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок). Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок). Ни в коем случае! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь). На какого чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика – ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

– Разруха, Филипп Филиппович.

– Нет, – совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, – нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это – мираж, дым, фикция, – Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заёрзали по скатерти. – Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? – яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за неё. – Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать

Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» – я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот). Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев – прямым своим делом, – разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более – людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошёл в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались.

Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми жёлтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещённый резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», – мутно мечтал пёс, – «первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

– Городовой! – кричал Филипп Филиппович. – Городовой! – «Угу-гу-гу!»

Какие-то пузыри лопались в мозгу пса…

– Городовой! Это и только это. И совершенно неважно – будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городового рядом с каждым человеком и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите – разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

– Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, – шутливо заметил тяпнутый, – не дай бог вас кто-нибудь услышит.

– Ничего опасного, – с жаром возразил Филипп Филиппович. – Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно – что

под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил её рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «мерси».

– Минутку, доктор! – приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами:

– Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

– Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? – осведомился он.

– Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в большом – «Аида». А я давно не слышал. Люблю… Помните? Дуэт… тари-рарим.

– Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? – с уважением спросил врач.

– Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, – назидательно объяснил хозяин. – Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям, и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, – под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор, – начало девятого… Ко второму акту поеду… Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух… Вот что, Иван Арнольдович, вы всё же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола – в питательную жидкость и ко мне!

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, – паталогоанатомы мне обещали.

– Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживает.

«Обо мне заботится», – подумал пёс, – «очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он – волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки… Ведь не может же быть, чтобы всё это я видел во сне. А вдруг – сон? (Пёс во сне дрогнул). Вот проснусь… и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начинается подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди… Столовая, снег… Боже, как тяжело мне

будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разруха. Невзирая на неё, дважды день, серые гармоники под подоконником наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, всё трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами отражали удачливого пса – красавца.

«Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито», – размышлял пёс, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях. – «Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю – у меня на морде – белое пятно.

Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом – не возьмёт он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пёс сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Ну, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды в 7 часов вечера в столовой, на которых пёс присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак, пёс изучил звонок Филиппа Филипповича – два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блёсток, пахнущий мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

– Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

– Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущённо говорила Зина, – а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

– Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

– Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь – как он не лопнет.

– Ну и пусть ест на здоровье… Чем тебе помешала сова, хулиган?

– У-у! – скулил пёс-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приёмную в кабинет. Пёс подвывал, огрызался, цеплялся за ковёр, ехал на заду, как в цирке.

Посредине кабинета на ковре лежала стекляннoглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином.

На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

– Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, – расстроенно докладывала Зина, – ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост её – цап! Я опомниться не успела, как он её всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причём пёс заливался горькими слезами и думал – «бейте, только из квартиры не выгоняйте».

– Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 15 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя – как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пёс понял, что он – просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пёс шёл, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мёртвого переулка – какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестёркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Фёдор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

– Ишь, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппович. Удивительно жирный.

– Ещё бы, – за шестерых лопает, – пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник – всё равно, что портфель», – сострил мысленно пёс, и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пёс сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещён именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в чёрной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной причёске на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах…

– Вон! – завопила Дарья Петровна, – вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

«Чего ты? Ну, чего лаешься?» – умильно щурил глаза пёс. – «Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете?» – и он боком лез в дверь, просовывая в неё морду.

Шарик-пёс обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала всё это сливками, посыпала солью, и на доске лепила котлеты. В плите гудело как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой.

В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на тёплой плите, как лев на воротах и, задрав от любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью всё, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого и пасхальный розан свисал с него.

– Как демон пристал, – бормотала в полумраке Дарья Петровна – отстань! Зина сейчас придёт. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

– Нам это ни к чему, – плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. – До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжкими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле.

Огней под потолком не было. Горела только одна зелёная лампа на столе.

Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнажённые по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах.

Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги.

– «К берегам священным Нила», – тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в пёсьей шкуре оживала последняя, ещё не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обречённая блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

Зинка в кинематограф пошла, – думал пёс, – а как придёт, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, – телячьи отбивные!

* * *

В этот ужасный день ещё утром Шарика кольнуло предчувствие.

Вследствие этого он вдруг заскулил и утренний завтрак – полчашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку – съел без всякого аппетита. Он скучно прошёлся в приёмную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днём после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошёл обычно. Приёма сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приёма не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжёлые книги с пёстрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка.

Проходя по коридору, пёс услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон.

Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

– Отлично, – послышался его голос, – сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

– Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пёс опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире», – раздумывал он… И только он это подумал, как кутерьма приняла ещё более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя. Тот привёз с собой дурно пахнущий чемодан, и даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

– Когда умер? – закричал он.

– Три часа назад. – Ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстёгивая чемодан.

«Кто такой умер?» – хмуро и недовольно подумал пёс и сунулся под ноги, – «терпеть не могу, когда мечутся».

– Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! – закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. – Зина! К телефону Дарью Петровну записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас – скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится», – пёс обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ли, пожрать? Ну их в болото», – решил пёс и вдруг получил сюрприз.

– Шарику ничего не давать, – загремела команда из смотровой.

– Усмотришь за ним, как же.

– Запереть!

И Шарика заманили и заперли в ванной.

«Хамство», – подумал Шарик, сидя в полутёмной ванной комнате, – «просто глупо…»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа – то ли в злобе, то ли в каком-то тяжёлом упадке. Всё было скучно, неясно…

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович», – думал он, – «две пары уже пришлось прикупить и ещё одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности – солнечный необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать», – тосковал пёс, сопя носом, – «привык. Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция… Бред этих злосчастных демократов…»

Потом полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

«У-у-у!» – как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять» – бешено, но бессильно подумал пёс. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нём встала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь открылась. Пёс вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую.

Холодок прошёл у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился?» – подумал он подозрительно, – «бок зажил, ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезён в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было всё в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки – в чёрных перчатках.

В куколе оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсьих глаз. Они были насторожены, фальшивы и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол.

– Ошейник, Зина, – негромко молвил Филипп Филиппович, – только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на неё.

«Что же… Вас трое. Возьмёте, если захотите. Только стыдно вам… Хоть бы я знал, что будете делать со мной…»

Зина отстегнула ошейник, пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него.

«Фу, гадость… Отчего мне так мутно и страшно…» – подумал пёс и попятился от тяпнутого.

– Скорее, доктор, – нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел ещё отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним, и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но ещё раз пёс успел вырваться. «Злодей…» – мелькнуло в голове. – «За что?» – И ещё раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нём в лодках очень весёлые загробные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

– На стол! – весёлым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пёс любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была ещё почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом – ничего.

Глава 4

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пёс Шарик и голова его беспомощно колотилась о белую клеёнчатую подушку. Живот его был выстрижен и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

– Иван Арнольдович, самый важный момент – когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнёт кровоточить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, – он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил:

– А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на чёрную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки.

Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступала кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтёр её, затем оголённый живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

– Можно мне уйти, Филипп Филиппович? – спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

– Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Лёгкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

– Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облёкся в такие же чёрные перчатки, как и жрец.

– Спит? – спросил Филипп Филиппович.

– Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький, колючий блеск и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась и из неё брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал её края и она высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз и тело Шарика вдвоём начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и жёлтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно защёлкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в неё комком марли и скомандовал:

– Шейте, доктор, мгновенно кожу, – затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

– 14 минут делали, – сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

– Нож, – крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приёмом навёл на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

– Трёпан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния одна от другой, так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, сунув её хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга – серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп

Филиппович въелся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору, и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до дёсен. Он ободрал оболочку с мозга и пошёл куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

– Пульс резко падает…

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался ещё глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из неё шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

– Иду к турецкому седлу, – зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-жёлтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с жёлтой жидкостью и вытянул её в длинный шприц.

– В сердце? – робко спросил он.

– Что вы ещё спрашиваете? – злобно заревел профессор, – всё равно он уже пять раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? – Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

– Живёт, но еле-еле, – робко прошептал он.

– Некогда рассуждать тут – живёт – не живёт, – засипел страшный Филипп Филиппович, – я в седле. Всё равно помрёт… Ах, ты че… «К берегам священным Нила…». Придаток давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой – «Не имеет равных в Европе… Ей-богу!», – смутно подумал Борменталь, – он выхватил болтающийся комочек, а другой, ножницами, выстриг такой же в глубине где-то между распяленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

– Умер, конечно?..

– Нитевидный пульс, – ответил Борменталь.

– Ещё адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

– Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из неё облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

– Папиросу мне сейчас же, Зина. Всё свежее бельё и ванну.

Он подбородком лёг на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

– Вот, чёрт возьми. Не издох. Ну, всё равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

Глава 5

Из дневника доктора Борменталя

(Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталя. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и чёток, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.).

* * *

22 декабря 1924 г. *Понедельник. История болезни.*

Лабораторная собака приблизительно двух лет от роду. Самец. Порода дворняжка. Кличка – Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топлёного молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору плохое, после недельного пребывания – крайне упитанный. Вес 8 кг (знак восклицат.).

Сердце, лёгкие, желудок, температура…

* * *

23 декабря.

В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформенным наркозом удалены яичники Шарика и вместо них пересажены мужские яичники с придатками и семенными канатиками, взятыми от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранявшимися в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удалён после трепанации черепной крышки придаток мозга – гипофиз и заменён человеческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

* * *

24 декабря.

Утром – улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

* * *

25 декабря.

Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

* * *

26 декабря.

Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

* * *

27 декабря.

Пульс 152, дыхание 50, температура 39, 8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

* * *

28 декабря.

Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37, 0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка.

Появился аппетит. Питание жидкое.

* * *

29 декабря.

Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища.

Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского Ветеринарного Показательного института. Ими случай признан неописанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура – 37, 0.

(Запись карандашом).

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 Мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдалённо напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения.

Взвешивание дало неожиданный результат – 30 кг за счёт роста (удлинение). костей. Пёс по-прежнему лежит.

* * *

31 декабря.

Колоссальный аппетит.

(В тетради – клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 Мин. Дня пёс отчётливо пролаял а-б-ыр.

* * *

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. (перечёркнуто, поправлено) 1 января 1925 г.

Фотографирован утром. Счастливо лает «абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнёс 8 раз подряд слово «абыр-валг», «абыр».

(Косыми буквами карандашом): профессор расшифровал слово «абыр-валг», оно означает «Главрыба»… Что-то чудовищ…

* * *

2 января.

Фотографирован во время улыбки при магнии. Встал с

постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(В тетради вкладной лист).

Русская наука чуть не понесла тяжёлую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин. – глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о палку стула. Т-а.

В моём и Зины присутствии пёс (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

* * *

(Перерыв в записях).

* * *

6 января.

(То карандашом, то фиолетовыми чернилами).

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнёс совершенно отчётливо слово «пивная». Работает фонограф. Чёрт знает – что такое.

* * *

Я теряюсь.

* * *

Приём у профессора прекращён. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «ещё парочку».

* * *

7 января.

Он произносит очень много слов: «извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В

области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

* * *

Ей-богу, я с ума сойду.

* * *

Филипп Филиппович всё ещё чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (Фонограф, фотографии).

* * *

По городу расплылись слухи.

* * *

Последствия неисчислимые. Сегодня днём весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас ещё под окнами.

В утренних газетах появилась удивительная заметка «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чём не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». – О каком, к чёрту, марсианине? Ведь это – кошмар.

* * *

Ещё лучше в «Вечерней» – написали, что родился ребёнок, который играет на скрипке. Тут же рисунок – скрипка и моя фотографическая карточка и под ней подпись: «проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это – что-то неописуемое… Он говорит новое слово «милиционер».

* * *

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортёров, один из них пролез на кухню и т. д.

* * *

Что творится во время приёма! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут…

* * *

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем – сами не знают.

8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый учёный, признал свою ошибку – перемена гипофиза даёт не омоложение, а полное очеловечение (подчёркнуто три раза). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (зачёркнуто)… на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся и я записал новое отчётливо произнесённое слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

– Перестань!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете, общими усилиями Шарик был водворён в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея,

да… От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор…». Я ничего не понял. Он пояснил:

– «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему бельё, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «не толкайся», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание америки», «примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идёт на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнёс длинную весёлую фразу: «Дай папиросочку, – у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове – слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей.

Колоссальный аппетит. С увлечением ест селёдку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол» – неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и сказал:

– Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани.

Свистал «ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важное: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза – мозгового придатка – разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме – гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы – творец. (Клякса).

Впрочем, я уклонился в сторону… Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, – уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

* * *

Шарик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я догадался. По Главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерезке зрительных нервов собаки.

* * *

Что в Москве творится – уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось… Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приёмной с Шариком. Смотровая превращена в приёмную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла,

потому что прыгал.

Еле отучили.

* * *

С Филиппом Филипповичем что-то странное делается. Когда я ему рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

* * *

(В тетради вкладной лист.).

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз – условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия – игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти – удар ножом в сердце в пивной («стоп-сигнал», у Преображенской заставы).

* * *

Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью. Не понимаю в чём дело. Бурчал что-то насчёт того, что вот не догадался осмотреть в паталогоанатомическом весь труп Чугункина. В чём дело – не понимаю. Не всё ли равно чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился. а) совершенный человек по строению тела; б) вес около трех пудов; в) рост маленький; г) голова маленькая; д) начал курить; е) ест человеческую пищу; ж) одевается самостоятельно; з) гладко ведёт разговор.

* * *

Вот так гипофиз (клякса).

* * *

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно сначала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского доктор Борменталь.

Глава 6

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприёмное время. На притолоке у двери в приёмную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано: «Семечки есть в квартире запрещаю». Ф. Преображенский. И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя: «Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается». Затем рукой Зины: «Когда вернётесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю – куда он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером». Рукой Преображенского: «Сто лет буду ждать стекольщика?» Рукой Дарьи Петровны (печатно): «Зина ушла в магазин, сказала приведёт».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шёлковым абажуром. Свет из буфета падал перебитый пополам зеркальные стёкла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный лист газеты.

Молнии коверкали его лицо и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку:

«…выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоучёная буржуазия. Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Шв…Р»

Очень настойчиво с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

– Све-е-етит месяц… Све-е-етит месяц… Светит месяц… Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

– Скажи ему, что пять часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над

чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щётка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской.

На шее у человека был повязан ядовито – небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах» – с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

– Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне – тем более днём?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

– Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

– Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

– Чем же «гадость»? – заговорил он, – шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

– Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

– Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий – все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

– Спаньё на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело и губы оттопырились.

– Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши. Это всё Зинка

ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

– Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

– Понятно, я вас спрашиваю?

– Понятно.

– Убрать эту пакость с шеи. Вы…..Вы посмотрите на себя в зеркало на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать – в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пёс его знает»!? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

– Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, – вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

– Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человеке.

– Да что вы всё… То не плевать. То не кури. Туда не ходи… Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даёте?! И насчёт «папаши» – это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? – человек возмущённо лаял. – Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завёл глаза к потолку как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», – пролетело у него в голове.

– Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? – Прищурившись спросил он. – Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мёрзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал…

– Да что вы всё попрекаете – помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

– Филипп Филиппович! – раздражённо воскликнул Филипп Филиппович, – я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», – подумалось ему.

– Уж, конечно, как же… – иронически заговорил человек и

победоносно отставил ногу, – мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет своё право…

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжёванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

– Пальцами блох ловить! Пальцами! – яростно крикнул Филипп Филиппович, – и я не понимаю – откуда вы их берёте?

– Да что уж, развожу я их, что ли? – обиделся человек, – видно, блохи меня любят, – тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей лёгкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

– Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?

– Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.

– Хм… Чёрт! Документ! Действительно… Кхм… А, может быть, это как-нибудь можно… – Голос его звучал неуверенно и тоскливо.

– Помилуйте, – уверенно ответил человек, – как же так без документа? Это уж – извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком…

– Причём тут домком?

– Как это при чём? Встречают, спрашивают – когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

– Ах, ты, господи, – уныло воскликнул Филипп Филиппович, – встречаются, спрашивают… Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

– Что я, каторжный? – удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. – Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо всё-таки сдерживать себя», – подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

– Отлично-с, – поспокойнее заговорил он, – дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

– Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

– Чьи интересы, позвольте осведомиться?

– Известно чьи – трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

– Почему же вы – труженик?

– Да уж известно – не нэпман.

– Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

– Известно что – прописать меня. Они говорят – где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это – раз. А самое главное учётная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же – союз, биржа…

– Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы… э… гм… Вы ведь, так сказать, – неожиданно явившееся существо, лабораторное. – Филипп Филиппович говорил всё менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

– Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить всё по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

– Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш.

– Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

– Полиграф Полиграфович.

– Не валяйте дурака, – хмуро отозвался Филипп Филиппович, – я с вами серьёзно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

– Что-то не пойму я, – заговорил он весело и осмысленно. – Мне по матушке нельзя. Плевать – нельзя. А от вас только и слышу: «дурак, дурак». Видно только профессорам разрешается ругаться в ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его.

Напившись из другого, подумал: «Ещё немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твёрдостью произнёс:

– Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

– Домком посоветовал. По календарю искали – какое тебе, говорят? Я и выбрал.

– Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

– Довольно удивительно, – человек усмехнулся, – когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях и на звонок явилась Зина.

– Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, Филипп Филиппович спросил:

– Где?

– 4-го марта празднуется.

– Покажите… гм… чёрт… В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а человек покачал укоризненно головою.

– Фамилию позвольте узнать?

– Фамилию я согласен наследственную принять.

– Как? Наследственную? Именно?

– Шариков.

* * *

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

– Как же писать? – Нетерпеливо спросил он.

– Что же, – заговорил Швондер, – дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм… Зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дёрнул усом.

– Гм… Вот чёрт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто… Ну, одним словом…

– Это – ваше дело, – со спокойным злорадством вымолвил Швондер, – зародился или нет… В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

– И очень просто, – пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

– Я бы очень просил вас, – огрызнулся Филипп Филиппович, – не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» – это очень не просто.

– Как же мне не вмешиваться, – обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал.

– Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право – участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «да»… Покраснел и закричал:

– Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? – и он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

– Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздражённо прочитал вслух:

– «Сим удостоверяю»… Чёрт знает, что такое… гм… «Предъявитель сего – человек, полученный при лабораторном опыте путём операции на головном мозгу, нуждается в документах»… Чёрт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись – «профессор Преображенский».

– Довольно странно, профессор, – обиделся Швондер, – как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

– Я воевать не пойду никуда! – вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.

– На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли – мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

– Я тяжко раненный при операции, – хмуро подвыл Шариков, – меня, вишь, как отделали, – и он показал на голову.

Поперёк лба тянулся очень свежий операционный шрам.

– Вы анархист-индивидуалист? – спросил Швондер, высоко поднимая брови.

– Мне белый билет полагается, – ответил Шариков на это.

– Ну-с, хорошо-с, не важно пока, – ответил удивлённый Швондер, – факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и нам выдадут документ.

– Вот что, э… – внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, – нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен её купить.

Жёлтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

– Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашённый загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», – подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил.

– Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот – тип, я вам доложу…

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушённый женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны.

Затем завыл Шариков.

– Боже мой, ещё что-то! – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям – Кот, – сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в неё, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

– Сколько раз я приказывал – котов чтобы не было, – в бешенстве закричал Филипп Филиппович. – Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приёмной!

– В ванной, в ванной проклятый чёрт сидит, – задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не

поддавалась.

– Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

– Убью на месте…

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налёг на дверь и стал её рвать. Распаренная Дарья Петровна с искажённым лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червиной трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на чёрную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтёрла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

– О, господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересёк кухню и спросил старуху грозно:

– Что вам надо?

– Говорящую собачку любопытно поглядеть, – ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович ещё более побледнел, к старухе подошёл вплотную и шепнул удушливо:

– Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

– Что-то уж больно дерзко, господин профессор.

– Вон, я говорю! – Повторил Филипп Филиппович и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул чёрной дверью за старухой. – Дарья Петровна, я же просил вас.

– Филипп Филиппович, – в отчаяньи ответила Дарья Петровна, сжимая обнажённые руки в кулаки, – что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть всё бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно.

Вошёл доктор Борменталь.

– Иван Арнольдович, убедительно прошу… Гм… Сколько там пациентов?

– Одиннадцать, – ответил Борменталь.

– Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

– Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

– Гу-гу! – Жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

– Какого чёрта!.. Не слышу, закройте воду.

– Гау! Гау!..

– Да закройте воду! Что он сделал – не понимаю… – приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович ещё раз прогрохотал кулаком в дверь.

– Вот он! – Выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, – царапина.

– Вы с ума сошли? – спросил Филипп Филиппович. – Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

– Защёлкнулся я.

– Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

– Да не открывается, окаянный! – испуганно ответил Полиграф.

– Батюшки! Он предохранитель защёлкнул! – вскричала Зина и всплеснула руками.

– Там пуговка есть такая! – выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, – нажмите её книзу… Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

– Ни пса не видно, – в ужасе пролаял он в окно.

– Да лампу зажгите. Он взбесился!

– Котяра проклятый лампу раскокал, – ответил Шариков, – а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свёрнутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Фёдор с зажжённой венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

– Ду… Гу-гу! – что-то кричал Шариков сквозь рёв воды.

Послышался голос Фёдора:

– Филипп Филиппович, всё равно надо открывать, пусть разойдётся, отсосём из кухни.

– Открывайте! – сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нём она разделилась на три потока: прямо в противоположную уборную, направо – в кухню и налево в переднюю. Шлёпая и прыгая, Зина захлопнула в неё дверь. По щиколотку в воде вышел Фёдор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеёнке – весь мокрый.

– Еле заткнул, напор большой, – пояснил он.

– Где этот? – спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

– Боится выходить, – глупо усмехаясь, объяснил Фёдор.

– Бить будете, папаша? – донёсся плаксивый голос Шарикова из ванной.

– Болван! – коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные вёдра и раковину.

Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролёт лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже, на паркете передней, и вёл переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

– Не будет сегодня приёма, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула…

– А когда же приём? – добивался голос за дверью, – мне бы только на минуточку…

– Не могу, – Борменталь переступил с носков на каблуки, – профессор лежит и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

– Тряпки не берут.

– Сейчас кружками вычерпаем, – отозвался Фёдор, – сейчас.

Звонки следовали один за другим и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

– Когда же операция? – приставал голос и пытался просунуться в щель.

– Труба лопнула…

– Я бы в калошах прошёл…

Синеватые силуэты появились за дверью.

– Нельзя, прошу завтра.

– А я записан.

– Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Фёдор у ног доктора ёрзал в озере, скрёб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лёг животом в воду и погнал её из передней обратно к уборной.

– Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? – сердилась Дарья Петровна, – выливай в раковину.

– Да что в раковину, – ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, – она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

– Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

– Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

– В калоши станьте.

– Да ничего. Всё равно уже ноги мокрые.

– Ах, боже мой! – расстраивался Филипп Филиппович.

– До чего вредное животное! – отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

– Вы про кого говорите? – спросил он у Шарикова с высоты, – позвольте узнать.

– Про кота я говорю. Такая сволочь, – ответил Шариков, бегая глазами.

– Знаете, Шариков, – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, – я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

– Вы, – продолжал Филипп Филиппович, – просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы всё это учинили и ещё позволяете… Да нет! Это чёрт знает что такое!

– Шариков, скажите мне, пожалуйста, – заговорил Борменталь, – сколько времени вы ещё будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

– Какой я дикарь? – хмуро отозвался Шариков, – ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет – как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

– Вас бы самого поучить! – ответил Филипп Филиппович, – вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

– Чуть глаза не лишил, – мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда чёрный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налётом и звонки прекратились. Филипп

Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

– Вот вам, Фёдор.

– Покорнейше благодарю.

– Переоденьтесь сейчас же. Да, вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

– Покорнейше благодарю, – Фёдор помялся, потом сказал. – Тут ещё, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только – за стекло в седьмой квартире… Гражданин Шариков камнями швырял…

– В кота? – спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

– То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подать.

– Чёрт!

– Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

– Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

– Полтора.

Филипп Филиппович извлёк три блестящих полтинника и вручил Фёдору.

– Ещё за такого мерзавца полтора целковых платить, – послышался в дверях глухой голос, – да он сам…

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приёмную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

– Не сметь! – явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, уж это действительно, – многозначительно заметил Фёдор, – такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

– Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приёмную и оттуда донёсся его голос:

– Вы что? В кабаке, что ли?

– Это так… – добавил решительно Фёдор, – вот это так… Да по уху бы ещё…

– Ну, что вы, Фёдор, – печально буркнул Филипп Филиппович.

– Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

Глава 7

– Нет, нет и нет! – настойчиво заговорил Борменталь, – извольте заложить.

– Ну, что, ей-богу, – забурчал недовольно Шариков.

– Благодарю вас, доктор, – ласково сказал Филипп Филиппович, – а то мне уже надоело делать замечания.

– Всё равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

– Как это так «примите»? – расстроился Шариков, – я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

– И вилкой, пожалуйста, – добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

– Я ещё водочки выпью? – заявил он вопросительно.

– А не будет ли вам? – осведомился Борменталь, – вы последнее время слишком налегаете на водку.

– Вам жалко? – осведомился Шариков и глянул исподлобья.

– Глупости говорите… – вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

– Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто – это вредно. Это – раз, а второе – вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

– Зинуша, дайте мне, пожалуйста, ещё рыбы, – произнёс профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

– И другим надо предложить, – сказал Борменталь, – и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

– Вот всё у вас как на параде, – заговорил он, – салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста-мерси», а так, чтобы по-настоящему, – это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

– А как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а

поднял рюмку и произнёс:

– Ну желаю, чтобы все…

– И вам также, – с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднёс к носу, понюхал, а затем проглотил, причём глаза его налились слезами.

– Стаж, – вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивлённо покосился.

– Виноват…

– Стаж! – повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, – тут уж ничего не поделаешь – Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

– Вы полагаете, Филипп Филиппович?

– Нечего полагать, уверен в этом.

– Неужели… – начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

– Spater… – негромко сказал Филипп Филиппович.

– Gut, – отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

– Я не хочу. Я лучше водочки выпью. – Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, чёрная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

– Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? – осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

– В цирк пойдём, лучше всего.

– Каждый день в цирк, – благодушно заметил Филипп Филиппович, – это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

– В театр я не пойду, – неприязненно отозвался Шариков и перекосил рот.

– Икание за столом отбивает у других аппетит, – машинально сообщил Борменталь. – Вы меня извините… Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

– Да дурака валяние… Разговаривают, разговаривают… Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

– Вы бы почитали что-нибудь, – предложил он, – а то, знаете ли…

– Уж и так читаю, читаю… – ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе пол стакана водки.

– Зина, – тревожно закричал Филипп Филиппович, – убирайте, детка, водку больше уже не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона»…

– Эту… как её… переписку Энгельса с эти м… Как его – дьявола – с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

– Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного.

Шариков пожал плечами.

– Да не согласен я.

– С кем? С Энгельсом или с Каутским?

– С обоими, – ответил Шариков.

– Это замечательно, клянусь богом. «Всех, кто скажет, что другая…» А что бы вы со своей стороны могли предложить?

– Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…

– Так я и думал, – воскликнул Филипп Филиппович, шлёпнув ладонью по скатерти, – именно так и полагал.

– Вы и способ знаете? – спросил заинтересованный Борменталь.

– Да какой тут способ, – становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, – дело нехитрое. А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…

– Насчёт семи комнат – это вы, конечно, на меня намекаете? – Горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съёжился и промолчал.

– Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

– Тридцати девяти человекам, – тотчас ответил Борменталь.

– Гм… Триста девяносто рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам – Зину и Дарью Петровну – считать не станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей. Потрудитесь внести.

– Хорошенькое дело, – ответил Шариков, испугавшись, – это за что такое?

– За кран и за кота, – рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

– Филипп Филиппович, – тревожно воскликнул Борменталь.

– Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали приём. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто…

– Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, – подлетел Борменталь.

– Вы стоите… – рычал Филипп Филиппович.

– Да она меня по морде хлопнула, – взвизгнул Шариков, – у меня не казённая морда!

– Потому что вы её за грудь ущипнули, – закричал Борменталь, опрокинув бокал, – вы стоите…

– Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить… А в то же время вы наглотались зубного порошку…

– Третьего дня, – подтвердил Борменталь.

– Ну вот-с, – гремел Филипп Филиппович, – зарубите себе на носу, кстати, почему вы стёрли с него цинковую мазь? – Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

– Все у вас негодяи, – испуганно ответил Шариков, оглушённый нападением с двух сторон.

– Я догадываюсь, – злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

– Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй… Что я развивался…

– Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, – визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. Сегодняшний случай показывает это как нельзя

лучше. Зина!

– Зина! – кричал Борменталь.

– Зина! – орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

– Зина, там в приёмной… Она в приёмной?

– В приёмной, – покорно ответил Шариков, – зелёная, как купорос.

– Зелёная книжка…

– Ну, сейчас палить, – отчаянно воскликнул Шариков, – она казённая, из библиотеки!

– Переписка – называется, как его… Энгельса с этим чёртом… В печку её!

Зина улетела.

– Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, – воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, – сидит изумительная дрянь в доме – как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах…

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», – вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина унесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

– Я не буду её есть, – сразу угрожающе-неприязненно заявил Шариков.

– Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетитор и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

– Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе – котов нету?

– И как такую сволочь в цирк пускают, – хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

– Ну, мало ли кого туда допускают, – двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, – что там у них?

– У Соломонского, – стал вычитывать Борменталь, – четыре какие-то… юссемс и человек мёртвой точки.

– Что за юссемс? – Подозрительно осведомился Филипп

Филиппович.

– Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

– Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было всё ясно.

– У Никитиных… У Никитиных… Гм… Слоны и предел человеческой ловкости.

– Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? – недоверчиво спросил Филипп Филиппович.

Тот обиделся.

– Что же, я не понимаю, что ли. Кот – другое дело. Слоны – животные полезные, – ответил Шариков.

– Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своём кабинете. Он зажёг лампу под тяжёлым зелёным колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зелёным огнём. Руки профессор заложил в карманы брюк и тяжкая дума терзала его учёный с взлизами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила…» И что-то бормотал. Наконец, отложил сигару в пепельницу, подошёл к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать её на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлечённый из недр Шарикова мозга.

Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек её и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав её конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

– Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В обуховом переулке в одиннадцать часов, как известно, затихает движение.

Редко-редко звучали отдалённые шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетитор в карманчике… Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарикова из цирка.

Глава 8

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через шесть после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал доктора Борменталя.

– Борменталь!

– Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте!

Отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухитрился восемь раз поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

– Ну и меня называйте по имени и отчеству! – совершенно основательно ответил Шариков.

– Нет! – загремел в дверях Филипп Филиппович, – по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

– Я не господин, господа все в Париже! – отлаял Шариков.

– Швондерова работа! – кричал Филипп Филиппович, – ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдёте отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

– Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, – очень чётко ответил Шариков.

– Как? – спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

– Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! – Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана три бумаги: зелёную жёлтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

– Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определённо в квартире номер пять у ответственного съёмщика Преображенского в шестнадцать квадратных аршин, – Шариков подумал и добавил слово, которое Борменталь

машинально отметил в мозгу, как новое благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь неё неосторожно вымолвил:

– Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

– Филипп Филиппович, vorsichtig… – предостерегающе начал Борменталь.

– Ну, уж знаете… Если уж такую подлость!.. – вскричал Филипп Филиппович по-русски. – Имейте в виду, Шариков… Господин, что я, если вы позволите себе ещё одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моём доме. 16 аршин – это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

– Я без пропитания оставаться не могу, – забормотал он, – где же я буду харчеваться?

– Тогда ведите себя прилично! – в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и распорол себе скулы так, что Филипп Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зелёном полумраке сидели двое – сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своём лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Учёные, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последние события: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича два червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились две неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в 45 отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Фёдор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в передней бобровая шапка

Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотой вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу благодарные ординаторы в день …», дальше шла римская цифра X.

– Кто они такие? – наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчёт того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а – хорошие.

– Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные… Как же они ухитрились? – поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

– Специалисты, – пояснил Фёдор, удаляясь спать с рублём в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неявственное насчёт того, что вот, мол, он не один в квартире.

– Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? – осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

– А может быть, Зинка взяла…

– Что такое?.. – закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстёгнутую кофточку ладонью, – да как он…

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

– Спокойно, Зинуша, – молвил он, простирая к ней руку, – не волнуйся, мы всё это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у неё на ключице.

– Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! – заговорил Борменталь растерянно.

– Ну, Зина, ты – дура, прости господи, – начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой и все умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись головой об стену он издал звук – не то «и», не то «е» – вроде «эээ»! Лицо его побледнело и судорожно задвигалась челюсть.

– Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!

И все забегали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталя, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 пополуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку с стрекозиной талией.

– Филипп Филиппович, – прочувственно воскликнул он, – я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель… Моё безмерное уважение к вам… Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

– Да, голубчик, мой… – Растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

– Ей-богу, Филипп Фили…

– Так растрогали, так растрогали… Спасибо вам, – говорил Филипп Филиппович, – голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности ведь я так одинок… «От Севильи до Гренады…»

– Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. – искренно воскликнул пламенны Борменталь, – если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом…

– Ну, спасибо вам… «К берегам священным Нила…» Спасибо… И я вас полюбил как способного врача.

– Филипп Филиппович, я вам говорю!.. – страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор и, вернувшись, продолжал шёпотом, – ведь это – единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

– Абсолютно невозможно, – вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

– Ну, вот, это же немыслимо, – шептал Борменталь, – в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная шутка. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

– И не соблазняйте, даже и не говорите, – профессор заходил по комнате, закачав дымные волны, – и слушать не буду. Понимаете, что получиться, если нас накроют. Нам ведь с вами на

«принимая во внимание происхождение» – отъехать не придётся, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

– Какой там чёрт! Отец был судебным следователем в Вильно, – горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

– Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность.

Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня ещё хуже. Отец – кафедральный протоиерей. Мерси. «От Севильи до Гренады… В тихом сумраке ночей…» Вот, чёрт её возьми.

– Филипп Филиппович, вы – величина мирового значения, и из-за какого-то извините за выражение, сукиного сына… Да разве они могут вас тронуть, помилуйте!

– Тем более, не пойду на это, – задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

– Да почему?

– Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

– Где уж…

– Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я – московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

– Филипп Филиппович, эх… – горестно воскликнул Борменталь, – значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

– Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии, ну скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

– Филипп Филиппович, что вы спрашиваете! – с большим чувством ответил Борменталь и развёл руками.

– Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

– А я полагаю, что вы – первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! – яростно перебил Борменталь.

– Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. Finita, Клим! – вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович и шкаф ответил ему звоном, – Клим, – повторил он. – Вот что, Борменталь, вы первый ученик

моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам как другу, сообщу по секрету, – конечно, я знаю, вы не станете срамить меня – старый осёл Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете – какое, тут, – Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, – но только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где, – здесь, Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, – сладострастно продолжал Филипп Филиппович, – разложил меня здесь и выпорол, – я бы, клянусь, заплатил бы червонцев пять! «От Севильи до Гренады…» Чёрт меня возьми… Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов… Вы знаете, какую я работу проделал – уму непостижимо. И вот теперь, спрашивается – зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

– Исключительное что-то.

– Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

– Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

– Да! – рявкнул Филипп Филиппович. – Да! Если только злосчастная собака не помрёт у меня под ножом, а вы видели – какого сорта эта операция. Одним словом, я – Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или ещё какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высокостоящего. Но на какого дьявола? – спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создаёт десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Моё открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош… Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется… Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? –

Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков, – исключительный прохвост.

– Но кто он – Клим, Клим, – крикнул профессор, – Клим Чугунков (Борменталь открыл рот) – вот что-с: две судимости, алкоголизм, «всё поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) – хам и свинья… Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз – закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! «От Севильи до Гренады…» – свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, – а не общечеловеческое. Это – в миниатюре – сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же всё-таки учёный.

– Вы великий учёный, вот что! – молвил Борменталь, глотая коньяк.

Глаза его налились кровью.

– Я хотел проделать маленький опыт, после того, как два года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о господи… Доктор, передо мной – тупая безнадёжность, я клянусь, потерялся.

Борменталь вдруг засучил рукава и произнёс, кося глазами к носу:

– Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Чёрт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов – это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

– Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

– Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его ещё обработает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

– Ага! Теперь поняли? А я понял через десять дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит

Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

– Ещё бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

– О нет, нет, – протяжно ответил Филипп Филиппович, – вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога не клевещите на пса. Коты – это временно… Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Ещё какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

– А почему не теперь?

– Иван Арнольдович, это элементарно… Что вы на самом деле спрашиваете да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он всё-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты – это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повёл плечами, твёрдо молвил:

– Кончено. Я его убью!

– Запрещаю это! – категорически ответил Филипп Филиппович.

– Да помилуйт…

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

– Погодите-ка… Мне шаги послышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

– Показалось, – молвил Филипп Филиппович и с жаром заговорил по-немецки в его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

– Минуточку, – вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно поражённый Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещённом четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страху показалось обоим, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад и небольшие его ноги, крытые чёрным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, всё ещё пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова,

как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

– Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитёра Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина – невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

– Дарья Петровна, извините ради бога, – опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову.

Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

– Что вы, доктор! Я запрещаю…

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

– Вы не имеете права биться! – полузадушенный кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

– Доктор! – вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришёл в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

– Ну, ладно, – прошипел Борменталь, – подождём до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приёмную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвёл руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

– Ну-ну…

Глава 9

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришёл в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

– Воображаю, что будет твориться на улице… Вообража-а-ю. «От Севильи до Гренады», боже мой.

– Он в домкоме ещё может быть, – бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Фёдор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно – что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, в шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернётся. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

– Так вам и надо! – рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину обухова переулка прорезал лай грузовика и окна в доме дрогнули.

Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нём была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потёртые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов сейчас расплылся по всей

передней.

Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича.

Он пригладил жёсткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

– Я, Филипп Филиппович, – начал он наконец говорить, – на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и шевельнулись.

Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

– Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) В отделе МКХ».

– Так, – тяжело молвил Филипп Филиппович, – кто же вас устроил? Ах, впрочем я и сам догадываюсь.

– Ну, да, Швондер, – ответил Шариков.

– Позвольте вас спросить – почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

– Ну, что ж, пахнет… Известно: по специальности. Вчера котов душили, душили…

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

– Караул! – пискнул Шариков, бледнея.

– Доктор!

– Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, – не беспокойтесь, – железным голосом отозвался Борменталь и завопил:

– Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

– Ну, повторяйте, – сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, – извините меня…

– Ну хорошо, повторяю, – сиплым голосом ответил совершенно поражённый Шариков, вдруг набрал воздуху, дёрнулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел и голова его совсем погрузилась в шубу.

– Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и

будет повторять.

– …Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

– Прокофьевна, – шепнула испуганно Зина.

– Уф, Прокофьевна… – говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, – …что я позволил себе…

– Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

– Опьянения…

– Никогда больше не буду…

– Не бу…

– Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, – взмолились одновременно обе женщины, – вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

– Грузовик вас ждёт?

– Нет, – почтительно ответил Полиграф, – он только меня привёз.

– Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

– Куда же мне ещё? – робко ответил Шариков, блуждая глазами.

– Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

– Понятно, – ответил Шариков.

Филипп Филиппович во всё время насилия над Шариковым хранил молчание.

Как-то жалко он съёжился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

– Что же вы делаете с этими… С убитыми котами?

– На польты пойдут, – ответил Шариков, – из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате приёмной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потёртом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот оторопелый остановился, прищурился и спросил:

– Позвольте узнать?

– Я с ней расписываюсь, это – наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приёмной. У него своя квартира есть, – крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.

– Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

– И я с ней пойду, – быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

– Извините, – сказал он, – профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

– Я не хочу, – злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

– Нет, простите, – Борменталь взял Шарикова за кисть руки и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

– Он сказал, негодяй, что ранен в боях, – рыдала барышня.

– Лжёт, – непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головой и продолжал. – Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения… Детка, ведь это безобразие. Вот что… – Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

– Я отравлюсь, – плакала барышня, – в столовке солонина каждый день… И угрожает… Говорит, что он красный командир… Со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире… Каждый день аванс… Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу… Он у меня кольцо на память взял…

– Ну, ну, ну, – психика добрая… «От Севильи до Гренады», – бормотал Филипп Филиппович, – нужно перетерпеть – вы ещё так молоды…

– Неужели в этой самой подворотне?

– Ну, берите деньги, когда дают взаймы, – рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввёл Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

– Подлец, – выговорила барышня, сверкая заплаканными

размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

– Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

– Я на колчаковских фронтах ранен, – пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

– Перестаньте! – крикнул вслед Филипп Филиппович, – погодите, колечко позвольте, – сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

– Ну, ладно, – вдруг злобно сказал он, – попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

– Не бойтесь его, – крикнул вслед Борменталь, – я ему не позволю ничего сделать. – Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

– Как её фамилия? – спросил у него Борменталь. – Фамилия! – заревел он и вдруг стал дик и страшен.

– Васнецова, – ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

– Ежедневно, – взявшись за лацкан Шариковской куртки, выговорил Борменталь, – сам лично буду справляться в чистке – не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы… Узнаю, что сократили, я вас… Собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, – говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на Борменталевский нос.

– У самих револьверы найдутся… – пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

– Берегитесь! – донёсся ему вдогонку Борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина.

Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме.

Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками к профессору.

– У вас боли, голубчик, возобновились? – спросил осунувшийся Филипп Филиппович, – садитесь, пожалуйста.

– Мерси. Нет, профессор, – ответил гость, ставя шлем на угол стола, я вам очень признателен… Гм… Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович… Питая большое уважение… Гм… Предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост… – Пациент полез в портфель и вынул бумагу, – хорошо, что мне

непосредственно доложили…

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать.

Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «…А также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, даже Энгельса приказал своей социалприслужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно не прописанный проживает у него в квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова – удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

– Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, – или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

– Извините, профессор, – очень обиделся пациент, и раздул ноздри, – вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я… – И тут он стал надуваться, как индейский петух.

– Ну, извините, извините, голубчик! – забормотал Филипп Филиппович, простите, я право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задёргал…

– Я думаю, – совершенно отошёл пациент, – но какая всё-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают…

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович.

Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивлённый Шариков пришёл и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

– Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам нужно, – и вон из квартиры!

– Как это так? – искренне удивился Шариков.

– Вон из квартиры – сегодня, – монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его и срок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

– Да что такое в самом деле! Что, я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

– Убирайтесь из квартиры, – задушенно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом – шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростёртый и хрипящий лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приёма по случаю болезни профессора – нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел поцарапанное в кровь своё лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и насторожённым голосом Зине и Дарье Петровне сказал:

– Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

– Хорошо, – робко ответили Зина и Дарья Петровна.

– Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать ключ, – заговорил Борменталь, прячась за дверь в стене и прикрывая ладонью лицо – это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

– Хорошо, – ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, насторожённые, одним словом мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах

смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора… Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Борменталь и профессор вышли из смотровой, её до смерти напугал Иван Арнольдович.

Якобы он сидел в кабинете на корточках и жёг в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зелёное и всё, ну, всё… Вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И ещё что… Впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врёт…

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

Глава 10
Эпилог

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

– Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалось масса народу. Двое в милицейской форме, один в чёрном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

– Не стесняйтесь, профессор, – очень смущённо отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. – Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, – человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил, – и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

– А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

– По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

– Ничего я не понимаю, – ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, – какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса… Которого я оперировал?

– Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.

– То-есть он говорил? – спросил Филипп Филиппович, – это ещё не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

– Профессор, – очень удивлённо заговорил чёрный человек и

поднял брови, – тогда его придётся предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

– Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, – приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нём отрастала шерсть вышел он, как учёный циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе.

Кошмарного вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:

– Как же, позвольте?.. Он служил в очистке…

– Я его туда не назначал, – ответил Филипп Филиппович, – ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

– Я ничего не понимаю, – растерянно сказал чёрный и обратился к первому милиционеру. – Это он?

– Он, – беззвучно ответил милицейский. – Форменно он.

– Он самый, – послышался голос Фёдора, – только, сволочь, опять оброс.

– Он же говорил… Кхе… Кхе…

– И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

– Но почему же? – тихо осведомился чёрный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

– Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

– Неприличными словами не выражаться, – вдруг гаркнул пёс с кресла и встал.

Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок милицейский подхватил его сбоку, а Фёдор сзади. Произошла суматоха и в ней отчётливей всего были слышны три фразы:

Филипп Филипповича:

– Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталя:

– Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера:

– Прошу занести эти слова в протокол.

* * *

Серые гармонии труб играли. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с её одинокой звездою. Высшее существо, важный пёсий благотворитель сидел в кресле, а пёс Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и тёплые.

«Так свезло мне, так свезло, – думал он, задрёмывая, – просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживёт. Нам на это нечего смотреть».

* * *

В отделении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

– «К берегам священным Нила…»

Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, – упорный человек, настойчивый, всё чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

– «К берегам священным Нила…»

notes

Примечания

1

«Жиркость» – сов. учреждение по изготовлению косметических средств